

**Ла-Игуэрра.  
Обратный отсчет  
Эпилог, оказавшийся  
предисловием**



*8 октября. 14.30. Глубина ущелья Юро*

Едкий запах порохового дыма сгустился в расщелине. Он не давал Че Геваре дышать. Спина откинулась на выступ, усеянный стреляными гильзами. Легкие вталкивали внутрь вдох за вдохом — в голос, с усилием, как тяжеленные мешки на погрузке.

Полы синей куртки разошлись следом за грязно-оливковой униформой с оторванными пуговицами. Обнажилась костлявая, изможденная грудь. Неесте-

ственно белая, она вздымалась и опускалась, будто жила помимо остального тела своей мучительной жизнью.

Пули секли о камни вокруг. Кто-то жуткий, тысячурукий с дьявольской лихостью вытанцовывал, выщелкивая своими мерзкими каменными пальцами. Эти же каменные пальцы все теснее сдавливали кадык командира.

Чуть поодаль, забившись в расщелину, сжался в комок и сдавил руками свое окровавленное лицо несчастный Чанг. Не зря его прозвали в отряде Невезунчиком. Осколок базальта, отколотый пулеметной очередью, полоснул ему по глазам. Стоная от боли, он вжимал свои маленькие ладони в залитые кровью глаза, как будто пытался заткнуть сочащиеся красным пробоины.

Че задыхался. Лицо его, почти невидимое из-за косматой рыже-черной бороды и спутанных волос, закинулось кверху. Туловище выгнулось дугой, будто спина упиралась в рюкзак. Или в крылья... Судорога толкала его туда, к глотку чистого воздуха.

Дым вился вокруг, и Вилли мерещилось, что неясная темная тень пляшет вокруг, да так хитро, неуловимо, не давая себя застать, ускользая из поля зрения. Вилли отер пот, заливающий глаза, и, не высовываясь из-за валуна, дал еще очередь — наугад, вверх, туда, откуда сыпался танцующий стальной дождь. Край огромного базальтового скола тут же словно стесало огненным языком, и раскаленные каменные брызги больно впились Вилли в правую щеку.

— Командир, уходите! — неистово зашептал Вилли и в следующий миг сделал то, на что никогда бы не решился в любой другой ситуации. Не дожидаясь разрешения, он схватил командира за руку... И чуть не упал вместе с ним, задыхающимся, от неожидан-

ности: истощенное, истерзанное астмой, тело оказалось легким, почти невесомым.

— Уходите, пока они совсем не отрезали нам дорогу... — как умалишенный, твердил Вилли. — Я вас доведу до того валуна. Видите?.. Оттуда вы сами, а я прикрою... Мы с Чангом вырвемся...

Какое-то подобие ветерка разметало ядовитую пелену, и Вилли натолкнулся на взор командира.

— Мы прорвемся все вместе, — прохрипел командир, как-то странно мотнув головой. Его грудь жадно и сипло втянула воздух, словно хищница, получившая, наконец, порцию свежего мяса.

— Слушай... мой приказ, Вилли. Слушай, доблестный Симон Куба. Ты будешь моим Симоном Петром, но ты не предашь меня, кто бы там и сколько раз ни встретил зарю...

— Никогда, командир, — прошептал Вилли. Волна необъяснимого волнения вдруг захлестнула его.

— Ты молодец, Вилли...

Командир умолк. Но взгляд его словно дошептывал что-то недосказанное.

— Ладно... — одышка мешала Че говорить, но он упорно выплевывал из себя слова. — Ты... не подведешь, Куба... Ты вернешься за Чангом... Я вас прикрою.

С этими словами он с неведомо откуда вдруг взявшейся силой оттолкнул Вилли и, высунувшись в полный рост из-за валуна, стал очередями поливать отроги ущелья из своей «М-2».

Оглушенный пальбой, Симон Куба поначалу зажмурился и присел на корточки, но уже через миг он тормозил и тащил упиравшегося и мотавшего головой Чанга. Все лицо у того было залито кровью. Пуля, наверное, лишь оцарапала щеку, но разбила очки, и осколки злосчастных стекол впились в кожу и повредили глаза. Чанг совсем ничего не видел,

лишь беспомощно и суматошно размахивал руками и все время отталкивал Кубу, видимо, не соображая, кто и зачем его куда-то тащит.

— Чанг!.. Это я, это я... — твердил Куба, сам себя не слыша. Симон крепко, как капризного ребенка, схватил товарища под мышки и потащил по каменистому склону, помогая сам себе криком и командами.

Голос его то нырял в оглушительную пальбу винтовки командира и грохот ответных очередей, то вдруг звонко вырывался, будто из ниоткуда, из малюсеньких прорезей тишины, неведомо как образовавшихся в этой дьявольской канонаде.

И вдруг смолкло... Командир лежал, распластавшись на валуне, словно его распяли прямо на камне железными гвоздями. Как страшно свистела его грудь в сгустившемся вдруг безмолвии! Симону опять показалось, что она пытается жить сама по себе, настолько движение грудной клетки отличалось от безжизненно-неподвижного тела командира.

Дыхание? Трудно подобрать слово для *этого*. Затрудненнейшее, бесконечное опадание, низвержение туда, куда падают ангелы. А потом — как вползание на Анкоуму<sup>1</sup>, попытка поднять измученные, истончившиеся меха. Мешок, в котором голубятник несет с рынка купленную птицу. Ткань мешка вот-вот порвется, и голубь взлетит в необъятное небо.

На выцветшей правой штанине командира, выше колена, выпросталась из зияющей дырки бурая орхидея. Она все цвела, и нижние лепестки все тянулись к колену и дальше, и бледная кожа под выгоревшей, порывевшей от слепящего солнца Боливии

---

<sup>1</sup> Высочайшая вершина Боливии, 6550 м (*здесь и далее — примечания переводчика*).

бородой на глазах становилась белой как мел. Но насколько спокойным было его лицо!

Куба осторожно прислонил Чанга к выступу, сунул болтавшуюся на ремне винтовку за патронташ и подскочил к командиру. Необъяснимый страх секундой полыхнул в нем. Так умиротворенно были сомкнуты веки глаз командира, что Вилли побоялся тревожить отдых командира. Но тут же, в сумасшедшей горячке, обругал себя за безумные мысли.

Командир словно ждал его. Он с готовностью протянул правую руку, и Куба, перекинув ее через плечи, помог командиру подняться. Немая гримаса боли выдала, каких это стоило усилий. Второй рукой раненый опирался на свою винтовку, как на костыль. Вилли заметил, что затвор у нее разворочен от прямого попадания пуль.

Сначала они пробовали идти рядом, но командиру становилось все хуже, и тогда Симон Куба взвалил его на себя и начал карабкаться по крутому подъему. Этот склон, нескончаемый, гладкий, казался Симону отрогом самой Анкоумы. Казалось, что с каждым шагом гора тоже росла, что она нескончаема и не кончится до самого неба. «Что ж, мы взберемся на нее...» — думал Вилли, совершая свое отчаянное восхождение с драгоценной ношей на плечах. Впрочем, «думал» вряд ли подходило к той лихорадочной пляске и чехарде, которой сопровождалось его карабканье вверх. «Мы... взберемся... на самый верх... Мы...»

— Эй, вы... Стоять! Сдавайтесь!

Пот заливал глаза и не давал осмотреться.

— Сдавайтесь!..

Симон Куба, покачиваясь, но изо всех сил стараясь устоять на ногах со своей ношей, очень осторожно вытер лицо болтавшей возле уха полкой командирской куртки. Трое в армейской форме, при-

сев по периметру, нацелили на него, на них свои винтовки.

— Положи его на землю, черт возьми! И винтовку! — снова крикнул тот, что в центре. На нем были капральские лычки. Судя по голосу, он явно терял терпение. Но Куба не пошевелился.

— Черт возьми... — начал он и не узнал свой голос, доносившийся, словно из подземелья. Или долетавший с далекой, заснеженной вершины. Вилли собрался.

— Это Че, понимаете? Это майор Гевара. Проявите хоть какое-нибудь уважение! Черт возьми...

*9 октября. 13.05. Ла-Игуэрра. 2400 метров  
над уровнем моря*

Сержант входит в классную комнату, белый, как облупившаяся со стен штукатурка. Он трясется всем своим коротеньким, грузным телом, словно его заставили зайти в клетку с ягуаром.

Пленный со связанными руками сидит, прислонившись к стене. Он как будто дремлет, опустив на тяжело сияющую грудь косматую, со спутанными волосами, голову. Увидев его, беспомощного, сержант берет себя в руки.

Пленный услышал шаги. Он поднимает глаза. Дрожь вновь начинает трясти вошедшего. Он беспомощно вскидывает винтовку, словно защищаясь от зеленого пламени устремленных на него глаз. Он не в силах унять эту дрожь, и дуло винтовки скачет перед ним.

Грохот, словно картонку, разрывает мозги, ударяя, словно обрезком трубы по стеклу, по взвинченным нервам сержанта. Это винтовка Уанки... В соседней комнате, за фанерной перегородкой тот в упор расстреливает двух партизан — один похож на

ребенка-китайца, с залитыми кровью глазницами, и второй, который тащил на плечах партизанского командира.

Вот он сидит и смотрит так... словно видит все твое прошлое и будущее...

— Ты волнуешься? — вдруг произносит он, и слова его звучат невыносимее, чем очереди и крики там, за перегородкой. — Ты же пришел убить меня...

\* \* \*

— Ну, ты сделал?!

— Не могу... не могу...

— Ты баба... Никой не солдат... Он прикончил твоих товарищей, а ты пускаешь тут слюни...

— Не могу... Он так смотрит. Я не могу выстрелить в эти глаза...

— Выполнять приказ, старший сержант Теран! Мать твою... Утри соплю...

\* \* \*

Вновь эта дверь, эта комната... Черная доска, и что-то написано белым мелом... Скамейка, на которой сидит *он*. На этот раз *он* ждет, и взгляд его встречает сержанта от порога. Тот, словно слепой, на ощупь делает несколько шагов и вскидывает винтовку, словно прицеливаясь. И опускает.

Сержант начинает что-то бормотать, но слышит голос:

— Успокойся. Ты всего лишь убьешь человека...

Словно на невидимую стену, натолкнувшись на этот голос, сержант отступает назад и, закрыв глаза, выпускает длинную очередь. Оглушенный, распахнув глаза, он видит, как пленный корчится на полу.

Голени его перебиты, и из них на убитый пол льется красная, густая, будто сургуч, кровь.

«Успокойся. Ты всего лишь убьешь... человека...»  
В сержантских висках, тяжелых, как чугунные нако-  
вальни, стучат молотки этих слов. «Успокойся... все-  
го лишь убьешь...» Человека? Ствол винтовки зами-  
рает, и сержант нажимает на спусковой крючок.



# Часть I

## АПЕЛЬСИНОВАЯ РОЩА



### Ульрика

Ты представить не можешь, чем это закончится, но точно знаешь, с чего все началось.

Ее взгляд. Хищный, как бездонная пасть зеленой сельвы... Неужели именно *эта* глубина добавляла тени к отсветам ее изумрудных глаз? Влажному, возбужденному блеску. Ты бы даже сказал — лихорадочному.

Пот течет градом, и трясет озноб. Похоже, что лихорадка — у тебя. Надо попросту совладать с волнением и успокоиться. Забавно будет подхватить

лихорадку в сытой утробе этого города — глянцевого торжища готового платья и законченной философии. Грандиозная пошивочная, где в угоду ветреным вкусам с одинаковым шиком перекраивают идеи и ткани. Сартр<sup>1</sup> под ручку с Коко<sup>2</sup> — вот будущее человека с берегов Сены à la Paris. Этаким «сенский близнец», мало чем лучше сиамского.

И ты такой же урод. Пора бы себе в этом признаться. Ха-ха-ха. Он перекроил и тебя, этот ласковый ветерок из Люксембургского сада. Кому-то до коллик в наметившемся брюшке хотелось вновь поиграть в героя. Сбросить, так сказать, балласт благоразумия.

Что ж, похоже, игра складывается более чем удачно: вместо героя ты превратился в шута. В трусливого паяца. Вот от чего тебя лихорадит! Не от клещей и тропических ливней и даже не от сквозняка в вагоне метро. Ха-ха. Ты попросту трусишь. Все милые радости, которые ты запасливо, будто подкожный жир, накопил за годы тихой, размеренной жизни, вдруг заходили внутри ходуном, холодным, липким студнем.

Бросает в пот от одной мысли: вот она посмотрит тебе в глаза и поймет *все*. Своим хищным женским чутьем ощутит вибрации твоего трясущегося нутра.

Или уже поняла?.. Нет, лучше сквозняки... турникеты станции «Порт Рояль» оказались контрольно-следовой полосой, отделяющей... От чего? Еще под-

---

<sup>1</sup> Жан-Поль Сартр (1905—1980) — великий французский писатель и мыслитель-экзистенциалист. Че Гевара был знатоком Сартра, помнил наизусть большие отрывки из его книг и часто их цитировал.

<sup>2</sup> Габриэль (Коко) Шанель (1883—1971) — знаменитая французская женщина-модельер, чьи идеи во многом определили мир моды XX века.

нимаясь из чрева метро, ты смутно предчувствовал это. А вернее, ты все уже знал. Сначала этот нежный салатный флер платанов в саду Марко Поло, которые с площади Святого Юлиана смотрелись, как понатыканные пучки петрушки. А следом зазывно, плотоядной алчущей пастью раскрылась изумрудная зелень Люксембургского сада.

Да, да, сначала был *ее* взгляд — зелень, с отблесками, жирными, как слюна, капающая с клыков.

А потом, с улицы Августа повернув на респектабельную Гинемэ, ты уперся в глаза этого типа напротив. *Уперся...* Они вспороли твою барабанную кожу осла, словно колья лесного охотника, устроившего в чаще ошестиненную ловушку.

Ну и тип... Он еще подозрительнее, чем тот, в метро... Но тот хотя бы закрывался для виду газетой. Постоянно встряхивал ею, тщетно пытаясь выбить из захламленных буквами страниц осевшую там тысячелетнюю пыль. Неужели они пустили за ним «хвост» от самого посольства?.. Вряд ли. Хотя секретарь вел себя очень странно. Продержал его на пороге все время, пока задавал свои дурацкие вопросы. Темно-коричневая, волосатая рука на ручке посольской двери, чуть приоткрывая ее — тяжелую, темно-коричневого, коньячного цвета. «Рука палача», — почему-то сразу подумал ты. И лицо... изрытое оспинами, цвета сигарного окурка, с выражением какой-то природной насупленности. Да, колоритного помощника подобрал себе генерал...

«Рукопись при вас? Да. Давайте, господин Сентено ее посмотрит... Никаких «но», таково условие господина посла... А вы не родственник генерала Буша? Внучатый племянник? Интересно... Нет, не мне, это просил разузнать у вас господин Сентено... Когда? Перезвоните... через три дня... Нет, раньше нельзя, так просил передать господин посол...»

После того разговора крепыш Альдо стал слишком мнителен. На тебя напала немотивированная трясучка, коктейль из озноба с противной холодной испариной. Ты стал не таким уже толстокожим деревянным человечком, от которого все невзгоды отскакивали, как бобы от стенки.

Раньше за тобой такого не замечалось, не так ли, Альдо, он же внучатый племянник и полный тезка знаменитого Германа Буша?.. Неужто ты стал стареть? Или это дело рук (и других частей тела, умопомрачительного тела!) Ульрики. Всего-то за несколько бессонных ночей неистовая валькирия выпарила из тебя лишние кило жира, накопленного в берлинских аудиториях, а заодно согнала весь твой преподавательский лоск.

Скорее всего ты попросту взялся не за свое дело. Ты никак не можешь себе в этом признаться, глупое ты говорящее полено. Сидел бы в своем берлинском гнездышке, слушал воркование Флоры, ее смех, неизменно радостный и неизменно волнующий, любил бы ее тогда, когда тебя застанет желание, превращая серые будни в нескончаемый медовый месяц... Ведь Флоре, твоей нежной мулаточке, так нравилась эта внезапность, заставлявшая ее отдаваться с такой жертвенной, радостной страстью... Неужели ты сразу не понял, что скрестить университетского червя и наследника гремучей диктаторской крови в одном лице н е в о з м о ж н о?! Тут уж одно из двух: или ты так и останешься червяком, или вырастешь в хвостатого огнедышащего дракона. Или—или, Альдо... третьего не дано...

Но ты уже потихоньку свыкаешься со своей легендой. Нет, ты попросту сросся с новой личиной. И разве, ступив на платформу Северного вокзала<sup>1</sup>, с

---

<sup>1</sup> Железнодорожный вокзал в Париже.

первой секунды ты не делаешь все возможное, чтобы и телом, и душой вписаться в свою роль? Или случилось и того проще: ни в кого ты не врал, оно само выросло, вывернулось из тебя наружу, все твое чертово латиноамериканское нутро, вся эта огненная, на соусе чили замешанная начинка, от которой ты тщетно пытался избавиться здесь, в пресной, безвкусной Европе, разом вдруг вылезла при первом же удобном случае... Потому ты и вел себя так естественно, недобитый внучатый ублюдок «того самого Буша», путеводной звезды луженых генеральских сердец многострадальной Боливии.

Да, Ульрика сумела подобрать ключик к бронированному сейфу под названием «сердце генерала». Нет, каково! «Это просил разузнать у вас господин Сентено»!

Рендидо при первой же встрече своим невнятным, тоску нагоняющим голосом пробубнил, что это была идея валькирии: воплотить его в племянника знаменитого Буша, «боливийского Цезаря». Потомок идола и кумира всех вояк-солдафонов, этих потомственных «хунтистов», которых хлебом не корми, дай пустить кровь каким-нибудь левакам, демократам и прочим во имя спасения нации или поиграть в войнушку, при этом непременно позвякивая пустопорожной погремушкой замшелого патриотизма.

Да, да, Альдо, ты попал пальцем в небо, а вернее, отмычкой в скважину, открывающую потасенную дверцу. Сейчас шкатулка сеньора генерала откроется. Тебе даже слышится звон музыкального механизма. Трень... трам-пам-пам. Теперь Ульрике только и остается, что подтрунивать над твоей шпиономанией.

Она зовет тебя Германом, и все остальные. «Так лучше, — говорит Рендидо, когда вы прощаетесь. — Так каждому легче вжиться в его легенду». И он, получается, на самом деле никакой не Рендидо. И Торрес, и Ульрика, и Рубио, и Мария...

И он — никакой не Альдо, а вот этот тип, который только и делает, что пялится на него... просто верх наглости! И главное, делает вид, что ему хоть бы что. И не думает прятаться: не отстает ни на шаг, обезьянничает, повторяя малейшее движение.

Неужели это *твоя* обезьяна, Альдо? Эта тварь, которая беспрестанно корчит рожи, гримасничая и кривляясь. Неужто ей, именно ей суждено превратиться в того самого человека (с большой, непременно с большой буквы!), будущее которого *проблескивает на горизонте*? Ведь ради него — все это. И «Хроника» — рубка бумажного тростника ради сахара ненависти. Или эта высшая сладость, этот нектар предназначен не тебе, а тому, которого и не разглядеть за горизонтом.

А тебе остается одно — день за днем превращаться в макаку, и кожа твоя прорастает звериной шерстью, а душа — животными инстинктами. Обратный отсчет, Альдо... Как деревянный дурачок Пинокио, по глупости и незнанию примеривший шкуру осла.

А шкура прирастает намертво, так, что от нее не избавиться. Пробуй, пытайся, *лезь из кожи вон*: любые попытки обречены. Ведь это твое собственное отражение гримасничает тебе же прямо в лицо. Без забот и препятствий пронизывает ряды манекенов, с равным успехом одолевая и застывших франтих в тысячефранковых шмотках, и бесстыдно раздетых, пляшущихся в марево улицы худосочным стандартом пластмассовых сисек.

Захватывающий променад! Где уж тут тягаться серфингу по лазурным волнам вблизи золотых пля-

жей Ривьеры!.. Этаким перышком по стеклу, а скорее мартышкой, порхающей по непролазным лианам.

Но легкость скольжения, как и все в этом мире, имеет свою плату: отражение то и дело сливается с рожеными чучелами, рождая причудливые суммы в духе «Капричос»<sup>1</sup>. Пожалуй, не Гойя... Ближе к Пикассо. Его «Сюита Воллара»<sup>2</sup>, где художник, разыгрывая бой быков, в неистовой тавромахии сливается со своей жертвой и становится Минотавром. Или «Герника»<sup>3</sup>, прореха в пространстве и времени, прободение в холсте бытия, дыра, кричащая в крошечные корчи ада. Там, именно там самое место твоему жалкому, мерзким, холодным потом залитому облику, который то и дело искажается в мишуре роскоши, дробится и комкается в кривых зеркалах витрин шикарных магазинов улицы Гинемэ.

Или все от воздуха, отравленного весной и угарным газом? Он плавится, как над раскаленной жаровней, изгибается в пыльной духоте набитой машинами улицы. Как тело Ульрики в миг, обозначенный порциями дрожи. Ее плечи, покатые плечи пловчихи, ослепительно белые, как нордический лед, арктический наст, под которым таятся арий-

---

<sup>1</sup> «Капричос» — серия гравюр великого испанского художника Франсиско Гойи (1746—1828). Один из офортов художник назвал «Сон разума рождает чудовищ», выразив в нем дух всей серии.

<sup>2</sup> «Сюита Воллара» — цикл пронизанных эротизмом графических работ великого испанского художника Пабло Пикассо (1881—1973), многие из которых посвящены искусству боя быков — корриде (тавромахии). Минотавр — мифический полубык-получеловек, рожден от любовной страсти к быку Пасифаи, жены царя Крита Миноса.

<sup>3</sup> «Герника» — панно, выполненное Пикассо в 1937 году по заказу испанского республиканского правительства и ставшее символом зла и ужаса, которые принес миру фашизм.

ский огонь обжигающего исступления, откидываются назад — словно сведенные судорогой или неодолимой рукой палача, — разом выставляя груди, тяжелые и упругие, будто вдавленные сверху. Они, и так широко посаженные, расходятся еще больше, и росинки любовной испарины, дрожавшие в ложбинке слева от сердца, в маленьком озерце вокруг серебряного нательного перекрестья, тают, разом обращаются в ручеек, текущий из ступней распятого в жизнь вечную...

Казалось, она задыхается... Как эта улица, втиснутая небывалой для апрельского Парижа жарой в нагретый асфальт, задыхается от выхлопных газов, под саваном смога, осевшего над тротуарами, среди молодой листвы платанов, уже в зародыше отравленной пылью и вонью из тысяч и тысяч выхлопных труб, нескончаемой процессией, под несмолкающий «Stabat Mater»<sup>1</sup> клаксонов и рычащих моторов, курящих свой ядовитый фимиам.

Или это задыхается сердце, не в силах перекачивать загустевшую от холодного выпота, вязкую кровь? И ниточка, связывающая тебя с тем, скользящим в витринах, истончается вдруг до предела, до диаметра нервного окончания где-нибудь в мизинце левой руки. А что как несчастному Коллоди уготовано испариться, тут, прямо посреди этой чертовой застекленной, оранжерейной теплицы — улицы Гинемэ? Останется от него мокрое место. Да ослиная шкура. Все возможности превратиться, так сказать, в барабан революции. Не зря, не зря так страдал и мучился обращенный в осла Пиноккио. У хозяина послушнейших осликов — бывших доверчивых ребяташек — то и дело получались чудные барабаны,

---

<sup>1</sup> «Богоматерь скорбящая» — католический гимн. (лат.)



громкие, звучные, ходовой товар из шкур превосходного качества. Уж на что был дурачок, да еще из полена, и то понимал, как легок путь от осла к барабану, и как тернист — к человеку, пусть даже с маленькой, самой маленькой буковки.

Тут стеклянный колпак бутиков Гинемэ вдребезги оборвался, и с улицы Вавен в лицо ударил порыв свежего ветра, смяв липкое, вязкое безвоздушие и швырнув его прочь, как скомканную вчерашнюю газету. Порыв ветра... Самого настоящего, весеннего, который продувает насквозь жалкие, забытые потом и пылью поры. И страхом? Признайся, признайся себе. Наберись мужества.

Признайся себе во всем... В том, что ты захотел ее в ту же секунду, как увидел на перроне Северного вокзала. «Герман?» — спрашивает она, а ты стоишь, как осел, не в силах вымолвить слово, онемев, а в глупой твоей башке мелькает: Брунгильда<sup>1</sup>... валькирия... Каким-то тевтонским напором, кумулятивными порциями впечатлений она вторглась в твою душу. Высокая... рыжая... ни следа косметики... зеленое пламя в глазах, то разгорающееся нестерпимо, то гаснущее до непроницаемости.

И голос ее — низкий, грудной, из самой глубины груди, обтянутой приталенной клетчатой «ковбойкой». Пущенная навыпуск, она вместе с джинсами откровенно выказывает напоказ объем и симметрию сильного, налитого неутомимой энергией тела спортсменки. Ворот рубашки, расстегнутый на три пуговицы, открывает шею — высокую и гордую, словно башню слоновой кости, без единой морщины и складки, и дальше вниз, из белейшей впади-

---

<sup>1</sup>Брунгильда — героиня немецкого эпоса «Песнь о Нибелунгах», дева-воительница. Валькирии — воинственные девы, уносят павших в бою храбрых воинов в Вальгаллу.

ны — пологое и неудержимое начало живых, тесных и сдавленных рубашкой выпуклостей. И там, в бездонной белизне этого начала, — католический крестик на черной бечевке: серебряные перекладки с намертво припаянной фигуркой.

И с ходу, как в омут, затянутый в этот хаос симметрий, ты чувствуешь себя Зигфридом — наливаешься силой и волей, готовой на все, лишь бы смять, сорвать эти джинсы и эти ненужные пуговицы. И вдруг, опомнившись, ты наталкиваешься на взгляд ее глаз. Ледовитая, бездонная Балтика, плещущая и мерцающая темно-зелеными волнами. «Verde Olivo»<sup>1</sup>... Насмешка сквозит в ее взоре, и ты страшно смущаешься, как студент-первокурсник на твоём же экзамене, и с пунцовеющим лицом и сладостной истомой внизу живота ощущаешь, что она все почувствовала. Насквозь увидела, что в тебе проросло. «Зеленая олива»... И вся твоя университетская спесь и магистерская рефлексия в тот же миг, на перроне Северного вокзала, превращается в гору пыльного хлама, груды чемоданов, которые мимо пронесет носильщик, услужливо семена вслед за напوماженной и аляпово разодетой дряхлой старухой.

Только тут до ослиного твоего нутра доходит: она уже дважды произнесла пароль. Нетерпеливо, как породистая кобылица, поведя своей статной шеей, бесшабашно тряхнув своей стриженной, словно в огненно-золотую шапочку для плаванья одетой головой, Ульрика вновь смотрит на тебя в упор с высоты своей стройной и статной башни. Ни тревоги, ни малейшего опасения, и от этого ты краснеешь

---

<sup>1</sup> «Verde Olivo» — «оливковый», намек на цвет формы кубинских революционеров — название популярного в Латинской Америке журнала, выходившего в Гаване после Кубинской революции. В его издании участвовал Эрнесто Че Гевара.

еще необратимей. «Oliva... roha», — сдавленно сипишь ты в ответ. И она вдруг улыбается своим широким, полногубым ртом голливудской дивы, и ряды ровных, сахарно-белых зубов окончательно лишают тебя дара зрения. «Roha... еще как roha!..» — смеется она, как-то обезоруживающе открыто, *распахнуто*. И тебя, замороженного окутавшим тебя изумрудным роением искр, вопреки всей твоей рефлексии, горячей пунцовым пламенем пылающих щек и ушей, с головой охватывает это рыжее пламя...<sup>1</sup>

И вы смеетесь уже в унисон, и ты продолжаешь выкидывать глупость за глупостью. «Красная олива!.. Ох-ох! Красная...» — придушенный смехом, колотишь ты в ослиный свой барабан. И ты, трусливая, паршивая ослятина, принимаешься тараторить, словно пытаешься сам себя вознаградить за окончательно распатавшиеся в поезде нервы, за перенесенные тобой на границе, совершенно ребяческие, из пальца высосанные страхи. «Красная!.. Обхохочешься! — несешь ты окоlesiцу, и ничто уже не в силах тебя осадить. — И кому пришло на ум выкрасить оливку в красный цвет? Да еще в пароль закатать? Она, видно, тоже смутилась до невозможности!..»

А Ульрика разом вдруг перестает смеяться. Ледниковая шапка воцаряется на невозмутимо возвысившемся, ставшем недостижимым ее лице, и ты понимаешь, что сморозил какую-то чушь. Но она не вдается в подробности. Лицо ее совершенно меняется. Оглядываясь по сторонам с индейским прищуром, она машинально берет пальцами левой руки свой серебряный крестик и тербит его указательным и большим пальцами. «Идем», — сухо произносит она и, не дожидаясь тебя, стремительно направляется в здание вокзала.

---

<sup>1</sup> В оригинале — игра слов, roho («красный») переводится и как «рыжий».

И ты, еле поспевая за ней со своей дорожной сумкой, понимаешь, что страхи твои вовсе не ребяческие. Ребячество осталось там, за спиной, в канувшем за вагонным окном Берлине, в университетских аудиториях, пропитанных мелом и запахом юности, замешанного на духах и перебродившем гормонами поте. Оно утонуло в бездонно-любовном немом укоре заплаканных карих глаз покинутой Флоры...

Флора... Нежная преданность, моя ты мулаточка, какао со сливками — «как ты любишь, любимый, чуть сахара и немного остывший»... Иная Бразилия вдруг проснулась в тебе, и уже не какао и сливки, а терпкий, одуряюще горький матэ<sup>1</sup> проникает в твою застоялую кровь. Так-то, Альдо... Наивный, ты думал, они благополучно атрофировались. Вещая с университетской кафедры, ты и не чаял обнаружить их внутри. А они все это время ждали, как ягуар, что крадется по непроходимой сельве, до поры неразлично сливаясь с безумно-запутанным изумрудным рисунком веток и листьев.

Ты ответил Ульрике: «Красная олива», — и ощущение опасности, забытое еще с времен Сан-Паулу и похищения Элдрика, вдруг понеслось по венам, как поезд метро, окатило тебя ушатом адреналина. Неудержимая волна выплеснулась наружу и понеслась в мелькании лиц и фигур, в галдеже пассажиров и даже в исполненном неги и шарма голосе из вокзальных динамиков, объявившем о прибытии Вен-

---

<sup>1</sup> Матэ (перба-матэ) — «парагвайский чай», национальный напиток во многих странах Латинской Америки. Согласно индейскому поверью, обладает магической силой утолять голод и снимать усталость. Приготавливается в калбасе — специальной посуде из тыквы и пьется через «бомбилю» — специальную металлическую трубочку.

ского экспресса. Вслед за стремительно удалявшимся факелом — огненно-рыжей Ульрикой...

«Verde Olivo» — это журнал...» — монотонно, словно «Stabat Mater» с амвона, бормочет Рендидо. Он никак не откликнулся на твою историю с паролем и Ульрикой. Другое дело Торрес. Этот на все лады начал играть и переигрывать ситуацию, которую коротко изложила Ульрика. И к чему она это? Или осмеяние — у них что-то вместо обряда посвящения? А Рендидо, с ножницами в руках, не обращая внимания на хохот и шуточки Торреса, терпеливо дает информацию. «Кубинцы выпускали его... Конечно, *им* «Олива» была как кость в горле. Враги перекрестили его в «Красную оливу». Перекрасили... Из-за его содержимого... Оно было действительно самое что ни на есть красное», — непроницаемо и монотонно, покачиваясь на своем тюфяке, будто шаман кечуа, произносит Рендидо. «Он расходился по всей Латинской Америке. И мы в Ла-Пасе читали его...» Его взгляд уставился в одну точку где-то на голый, без ковров и картин, стене напротив. «А разве в Бразилии не читали «Оливу»?» Глаза его вперились прямо в тебя, но вопрос его прозвучал все так же прозрачно, лишенным гамм и оттенков. «Читали... Маригелла давал мне номера...» — бурчишь ты, как студент-недоучка, невероятным внутренним усилием сдерживаясь, чтобы опять не превратиться в красную оливу. «Да, Маригелла...» — совсем теплым эхом вторит Рендидо, прикрыв глаза. Точно молится за душу вожака бразильской герильи. Торрес на несколько мгновений перестает смеяться.

Что ж, ты прекрасно знал Карлоса и не считаешь нужным с ходу что-то кому-то доказывать. «Они и так должны знать. А если не знают, то нечего и объяснять», — подумал ты.

Этот Рендидо, прыщавый зануда, который у них в

коммуне, видимо, вместо пугала или громоотвода, притягивающего все насмешки, словно прочел твои мысли. «Не бойся. У тебя надежные рекомендации. Участвовать с Маригеллой в городской герилье...» — сказал он, и густая кровь доброжелательности наполнила облатку его тусклого голоса. «Я и не боюсь... — несколько запальчиво парируешь ты и добавляешь уже спокойно, но с пафосом: — Карлос был вожаком по природе... Многих из нас он вывел на освещенную дорогу». Какого черта ты скатываешься до этого дешевого пафоса? Неужели ты, мифотворец чертов, стремишься произвести впечатление на этих юнцов?

Зануда все так же сидел, замерев и прикрыв веки. «Природа... что мы знаем о природе идущих впереди?» — прозвучал наполненный страстью голос Ульрики. Если бы в них не плескалось столько страсти, слова ее могли бы показаться сухой риторикой: «Жмурясь, сетуя и жалуясь, мы, смертные, бредем за путеводной звездой, освещающей нам путь. Много ты можешь сказать о природе звезды?» Последний вопрос она задала, точно щелкнула бичом, широко распахнув свои глаза-изумруды и глянув тебе прямо в душу. Напряжение этого взгляда передалось тебе, и ответ готов был уже прозвучать. Но зануда обесточил возникшее электричество. «И насчет украденного гринго знаем. Отлично знаем». Торрес совсем повеселел. «История с Элдриком наделала много шума, — откликнулся он. — Помню, мне не давала покоя мысль: одного его выкрали или с супругой. Газеты писали, что у американского посла жена — красавица, бывшая «мисс» какого-то штата...» Ты слушаешь его нескончаемую болтовню, и внутри нарастает неясное беспокойство. Когда же они отведут тебя к главному?

Но к индейцу ты в первый раз так и не попал. Он

у них, видимо, что-то вроде гуру или шейха в ордене дервишей. И охраняют его почище золотого Будды. «Не гогочи, Торрес! Алехандро работает! И вообще хорошо бы тебе хоть на минуту заткнуться!..» И ни на секунду не умолкающий Торрес, перуанец с покрытым шрамами лицом тореадора и с подростковым, бесшабашным весельем в глазах, покорнейше повинуется шиканью Ульрики и... нет, не смолкает, но на несколько минут делает свой «громкоговоритель» потише. «А когда же мы с тобой поработаем, Ульрика?» — откровенным взором провожая ее, маслено бросает Торрес ей вслед и встряхивает своими засаленными, черными как смоль волосами. И ты еле сдерживаешься, чтобы не дать ему... нет, не в зубы, а подзатыльник, как нашкодившему школьнику. «Не в этой жизни, Морено, — ничуть не смущаясь, парирует Ульрика. — Твой язык работает за двоих, так что вряд ли тебе нужна партнерша». Под дружный хохот Торрес на миг умолкает, но довольная улыбка не покидает его неунывающее лицо. А ведь они ненамного младше тебя, Альдо. Да уж, старина Альдо! Неужели любовная патока Флоры обернулась непролазной трясиной жира? Да, ты всегда умел находить виноватых. Кому ты сейчас отвел роль несчастного папы Карло?

Ты нетерпеливо оглядываешься вокруг, стараясь избегать настырного взгляда Рендидо. «Так сегодня мы с Алехандро не увидимся?» — спрашиваешь ты, еле скрывая досаду. «Нет, — отвечает Ульрика. — Герман, с ним ты увидишься завтра. На сегодня с тебя и так достаточно». Голос ее струится неожиданно мягко и доброжелательно.

«Алехандро работает...» Что он там, смешивает коктейль Молотова? Из-за двери, которая уже стала для тебя заветной, не доносится ни звука. И в воздухе — ни намек на сольярку и керосин. Уж ты-то ни-

когда не забудешь, как готовят коктейль Молотова... Рендидо словно читает твои мысли. Ты вдруг раздосадованно ловишь себя на мысли, что с момента твоего появления на пороге этой квартиры, больше напоминающей зал ожидания на вокзале, он испытующе тебя изучает. Ну и противный же у него взгляд! И голос какой-то дребезжащий, надтреснутый, словно скрывающий точащую его немочь.

«Хроника», — с пиететом, который кажется тебе излишним, произносит зануда. «Хроника», — вдруг прервав свой поток балагурства, совершенно серьезным эхом вторит Торрес. Ты усилием воли сдерживаешь порыв любопытства. От тебя вопросов они не услышат. В конце концов, на сегодня с тебя действительно хватит. Или, может, Ульрика сказала больше, чем все услышали? Ведь *сегодня* еще не закончилось. Впрочем, ты давно уже живешь так, что сегодня не заканчивается для тебя никогда.

И Рендидо, и Торрес сидят на матрацах прямо на полу, обложенные огромным ворохом газет и журналов. Повсюду разбросаны обрезки. В руках у них ножницы, которыми они одну за другой кромсают страницы.

«Проходи, Герман, располагайся. Любой свободный тюфяк — в твоем полном распоряжении. И не обращай на нас внимания. Мы грубые, неотесанные мачетерос. У нас тут сезон уборки сахарного тростника», — панибратски откликается Торрес. «Смотрите, Герман небось удивлен. Наверно, ломает себе голову, что за бумажной ерундой они тут так заняты?» — «Когда язык без костей, его не сломаешь. Вот челюстям и приходится отдуваться», — отвечаешь ты, может быть, излишне жестко. Но Торрес начинает заливисто хохотать, потряхивая своими смоляными прядями. «А ты парень не промах, — сквозь смех выводит он и многозначительно подмигива-



## **Содержание**

ЛА-ИГУЭРРА. ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ. Эпилог, оказавшийся предисловием. . . . .	5
Часть 1. АПЕЛЬСИНОВАЯ РОЩА. . . . .	13
Часть 2. БРОД ЙЕСО . . . . .	85
Часть 3. УЩЕЛЬЕ ЮРО . . . . .	186
ЛА-ИГУЭРРА. ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ... . . . .	268